

Александр Левитов

# Бесприютный



Александр Иванович Левитов

## Бесприютный

«Я сидел у ворот на лавочке в одной маленькой при-шоссейной деревушке, весь отдавшись немому созерцанию шумных шосейных проявлений.

Все обстояло благополучно: в десяти домах, из кото-рых состояла деревушка, я насчитал шесть кабаков, три белые харчевни, два постоянных двора и несколько мелочных лавочек...»

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0030

**Александр Иванович Левитов**  
**Бесприютный**

Я сидел у ворот на лавочке в одной маленькой пришоссейной деревушке, весь отдавшись немому созерцанию шумных шоссежных проявлений.

Все обстояло благополучно: в десяти домах, из которых состояла деревушка, я насчитал шесть кабаков, три белые харчевни, два постоянных двора и несколько мелочных лавочек. Такой широкий коммерческий размах и притом в таком незначительном уголке давал бы самое отличное понятие о торговой предприимчивости туземцев, если бы вся деревенька в буквальном смысле не была залита мертвецки пьяными толпами, которые бесновались на улице на разные манеры.

Звуки гармоник и балалаек, лившиеся из широко распахнутых кабаков, горластые песни и унылые взвизги искалеченных шарманок – все это скорее располагало думать не о торговом пункте, в котором кипит энергичная и более или менее молчаливая работа, а как бы о каком-то сказочном острове непрерывных веселостей и наслаждений...

Бравой походкой, нисколько не свойственной сивым бородам, ко мне подскочил вдруг какой-то старик, голова которого вся поросла седыми лохматыми космами. Театрально подперши руки в бока, он уставил в меня свои маленькие, суженные глазки и с азартом закричал:

– Подь сюда! подавай мне, майору, сию же минуту лепорт.

Тут старик топнул ногою, сморщил брови, повелительно надул губы – и в такой позе долго и пристально всматривался в меня, как будто заранее обсуждая содержание ожидаемого от меня лепорта.

– Ха, ха, ха! – разразился он наконец старческим хохотом, пополам с удушливым кашлем. – А ты думал, золотой, что это я на тебя вправду командую? А, ха, ха, ха! Нет, брат, я добрый.

Несмотря на разные развеселые шутки, которые проделывал старик, мне легко было поверить словам его рекомендации: красноватые и слезливые глаза его в действительности была очень добры и кротки.

Еще в первые дни моего знакомства с дере-

вушкой, прежде всех ее шоссейных див, я уже заметил этого старика в истасканном сером чапане, молодецки накинутом на одно плечо, и всегда без шапки. Случалось и так, что его выкрики залетали с шоссе в мою комнату и будили меня. Они даже предупреждали ранние звуки пастушьего рога. Одним еще только глазком солнце поглядывало на шоссейные безобразия, проделанные ночью, а уже мне слышно было, как старик то, как бы буйствуя, погаркивал на проезжавшие по улице народы, возводя их, более чем скромные, общественные положения в высокие ранги генерал-майоров, полковников и даже, как он говорил, фидьмаршалов, то своим обыкновенным ласковым тоном он приветствовал всю эту трудовую, закорузлую и потому страшно обозленную толпу грациозными эпитетами, вроде: золотенького, милашечки, голубочка, андельчика и т. д. до бесконечности.

Еще на желтом от ночной росы шоссе реяли какие-то серенькие игривые тени, обыкновенно летающие в предутренней молчаливой природе, еще из пьяных голов, беспомощ-

но приютившихся в канавах, прохладная ночь не успела прогнать сумасбродных грез, а старик уже дежурил на шоссе и, по своему обыкновению пошумливал и погаркнувал:

– Литенант! Ты што делаешь, бес? А?

– Пааш-шол-л тты!.. – уклончиво отвечало ему веселое утро угрюмым и пропившимся басом.

– Как пошел! Ты это, дьяволок, лошадей-то мутной водой поить вздумал? Ты рази не знаешь, как лошади на вашего брата за это серчают?.. А?..

– Па-аш-шол!..

– Осина горькая! Поди чаю напейся с похмелья-то али вина. Очнись! Я уж сам коней-то напою. Нечево кулачиной-то намахиваться. Сам тебя завсегда могу смазать, золотенький! Этак ли тебе сладко покажется от моего засвету!.. Хе, хе, хе!

– Па-аш-шол-л! – Вместе с пропившимся утренним голосом погромыхивали бубенцы чьих-то измученных и потому вздрагивавших лошадей.

Слышно было, как кто-то пересиливал кого-то, потом что-то тяжелое грузно бухалось в

телегу, раздавался топот копыт, сопровождаемый звоном бубенцов, – и после всего этого на затихшем на минуту шоссе снова полетывал беззаботной птицей веселый крик старика:

– С бог-гом! Супруге! Деткам! Скажи им: дед, мол, вам по гостинчику обещал принести. Хе, хе, хе! Любят ребята гостинцы-то есть...

Как-то особенно приятно было просыпаться от этого веселого и шутливового голоса.

Встанешь, разбуженный им, выйдешь к воротам и видишь: стоит на шоссе какой-то отрепаный старикашка в самой обеспеченной позе, распевает он различные веселые песни, прерывая их по временам для того, чтобы предупредить путников насчет приятных случайностей, могущих встретиться с ними на шоссеинном пути.

– Э-э-э! Проснись, проснись поскорее, удалец! А то на одной оглобле домой-то поедешь. Вишь, вон молодцы-то какие милые в канаве-то залегли. Это они твои бочоночки облюбовывают...

– Што? што? – торопливо спрашивает сон-

ный проезжий.

– Ничево! Губернатор проехал сейчас, так приказывал тебе верхнюю губу колесом отдавать. Распустил ты ее очень по дороге-то. Эх! Не бережлив же ты, паренек, насчет губ, – шутил старик, между тем как милые молодцы, любовавшиеся на бочонки проезжего, подняли из канавы шершавые головы и принялись грозить старику:

– погоди, майор! погоди, старая шельма! попадешься ты к нам когда-нибудь в лапы. Мы тебя погладим...

– Ладно! – соглашается старик – и в ту же минуту всем его вниманием овладевает какая-нибудь другая жизнь, появившаяся на шоссе.

Мне давно хотелось затащить к себе этого старика – и вот он сидит со мной на приворотной лавочке, наивно рекомендует свою собственную доброту, дружески поталкивает в бок и, осмотревши меня своими как бы на что-то жаловавшимися глазами, вдруг осведомляется:

– А что, полковничек (как бы тебе о сем деле доложить?), нет ли у тебя пяточка займы

до завтрашнего утра? Верь, друг, отдам. Вот наношу завтра воды в трактир – и отдам. Я на этот счет справедлив. Ты, может, полагаешь, что я, выпивши, забуяню или за нехорошие слова примусь? Ни! Ни! Выпить я – выпью; но забидеть кого... Да сохрани меня царь небесный!

Говорил это старик убедительным тоном человека, который все свои силы направил к тому, чтобы и другие, как и он, выпивать бы себе выпивали, а буяннить или нехорошими словами ругаться – ни, ни! Сохрани бог!

– Ух! Забрусил как натоцак-то! – блаженно покряхтывал старик, закусывая крендельком наскоро обделанную выпивку. – Как есть по-майорски хватил – цельную косушку. Хе! То есть так это приятно спросонья старичку божьему опохмелиться. Очень дюже согревает. Я только одним вином и держусь теперь. Ежели бы я им не занимался, давно бы уж и порешил. Так точно! Ты, брат-полковник, не сомневайся! Нечево на меня глазами-то вскидывать... Мне об этом лекарь один говорил. Он теперь, известно, сам с кругу спился – и, признаться, даже в запивойстве в своем при-

воровывать по-малости стал: но л-леч-чить... разное мое!.. Можно чести приписать! Имеет похвальные листы от именитых господ. Бумаги широкие – и все с разноцветными печатями: кое место из красного сургуча приляпана, кое из зеленого. Ну, теперича ходит он по нашим палестинам и, к примеру, исцеляет... Так што же я тебе скажу, сударь ты мой? Сидим мы с ним однажды в кабаке, он мне и объявляет: ежели ты, говорит, Федор, не желаешь скончаться скоропостижно, так до самой смерти без перерыву и пей. И не увидишь, говорит, как умрешь. Словно как бы на тележке под гору скатишься... А перервешь, будет с тобою удар. У него таких случаев много бывало, – как же! Я, признаться, верю ему, потому ах какой добрый человек этот лекарь! Да по нашим сторонам и все ему верят и денег с него никто не берет ни за еду, ни за ночлег; а бабы ему так и рубашками жертвуют – старенькими. Нельзя, друг, не жертвовать. Слаб, слаб; а все же он человек есть. Так ли я говорю, господин фидьмаршал?

– Так! Так! – поспешил я согласиться с стариком, не желая прерывать ринувшегося на

меня словесного потока, который лился из стариковских уст с тем поражающим обилием, с каким обыкновенно разговаривают люди, приученные своею придорожною жизнью непременно потолковать с первым встречным.

– Не такай, голубица! Не поддакивай! – остановил старик мое поспешное согласие с выраженным им мнением. – Сами знаем, что добродетель-то значит. У нас тут, вот я тебе расскажу, каков случаек был: пленного турку ребята наши до смерти зашутили. От Севастополю он остался. Встретился кто, бывало, с ним на улице, сейчас его в бок. «Здравствуй, говорят, туретчина!» Известно, он одинокий – и опять же нехристь. Бывало, хватят-хватят по колпаку-то по ихнему; а он только что глаза уставит, ровно бы барашек бесноватый, а из глаз у него слезы-то, слезы-то... Ах, б-боже ты мой милосердый! Помирать стану, так вспомню, как эти грешные слезы точились... Три года мучился он таким-то манером, – ругаться было по-нашенскому привыкать стал, и все-то это в аккурате; ну, однако, слег – не стерпел... Вижу я, расплохие его делишки,

прихожу: сейчас ему водки, горяченького пирожка такожде кое-откуда раздобыл. Гляжу: он пялит на меня глаза, словно бы и я его, как ребята наши, бить собираюсь, – руками на небо кажет и со слезами хрипит мне: Рус! Рус! Старык! Господы!.. Так вот ты и думай тут, господин полицмейстер, что значит добродетель-то свою объявить человеку: нехристь, а ежели ты с ней по-душевному обойдешься, так и ей небось господь-то бог батюшка за первое дело припомнится...

Но в этом разе я очень грешон! – сокрушенно исповедовался старик. – Потому как, – растягивал он свою речь, – повадился я к тому турку каждый день с винищем с эстим – поганым – шататься, – полагал дурак, что это ему в утешенье и в усладу пойдет – и так это он от меня к вину приучился... Так приучился, – страсть! Умирать когда стал, совсем напоследях уж бормочет: «Дай-ка, дай!..» – говорит. Даешь!.. Потому, как не дать больному человеку?.. Но, милый генерал, заместо тово, я всегда желал его, штобы, то есть, к христианской вере... Не попущено!.. Все грехи наши!.. А? Как ты рассуждаешь? Ежели бы не грехи-то?.. А?..

Глубокое уныние, с которым старик делал последние вопросы, было нарушено приходом к нам содержателя того постоянного двора, в котором я приютился. Это был высокий, крепкий старик, в дутых, ярко вычищенных сапогах и с большою связкой ключей, висевшей у него на поясе. Он тоже уселся с нами на лавочку и, снисходительно улыбаясь, выслушивал, как Федор Василич рекомендовал мне его как самого лучшего губернатора.

– Нет, ты гляди, баринок, – с непоколебимой верой в состоятельность своих слов покрикивал Федор Василич. – Глянь: чем это не губернатор. Он всей деревне у нас комендант, Ах-х! И добр же только! Какой он мне – пьянице – завсегда приют дает: летом на сене, зимой на печи разлягусь, – беда!

Говоря это, старик любовно обнимал и целовал степенного содержателя постоянного двора, повертывал его предо мною во все стороны, показывая мне таким образом то его широкую ситцевую спину и высокие светлые задники сапог, то тоже ситцевую и широкую грудь и снисходящее до шутливой улыбки, серьезное стариковское лицо – и подобные пе-

реверты продолжались до тех пор, пока какая-нибудь новая сцена на улице не призывала майора на подмогу своей беспомощности.

– Майор! Друг! – кричал кто-то у окошка, колотясь головой об грядущки телеги, которую с увлекающей бойкостью несла по шоссе маленькая вятка, увешанная бубенцами малинового звону. – Приостанови, сердечный, дьяволенка-то! Купил себе нового черта; ни за што не стоит. Уж я ему и бубенцы-то новые понавешал (слышь, вон как позванивают, – разлюли малина!), и розовых лент-то в гриву наплел, – бесится – и кончен бал!

– Хо, хо! – завопил майор не своим голосом, покидая тряску, которую он задавал содержанию постоялого двора, и бросаясь на середину шоссе, прямо наперерез взбудораженной хозяйскими ласками лошади. Схвативши ее за узду в то время, когда она бешено встала на дыбы от неожиданного препятствия, майор радостно вскрикивает:

– А-а, Гаврюша! Т-ты? Как супруга? Детки?

– Слава богу! – отзывается Гаврюша, барахтаясь в телеге. – Майор! Подними, милый человек...

– Вот чудачок-то у нас, сударь! – сказал мне содержатель постоянного двора про майора. – Стар, стар, а сколько он этого винища осиливает!.. К ночи иной раз только ополоумеет. А смолоду что было, ежели бы вас известить, так это истинно страсти господни!..

– Да что же он у вас такое? Кто? – полюбопытствовал я.

– Уж и не знаю, как вам доложить про него, милостивый государь мой! Теперь он, конечно, што вроде полоумного или блажного, но прежь того звонкий был человек.

– Звонкий?

– Так точно-с! Отличался Федор Васильев, может, на триста или на пятьсот верст по всей округе.

– Вот как?!

– Сущую правду докладываю. Человек был одно слово: ажже!..

– Как вы говорите, хозяин? Какой человек?

– Ажже, господин! Это он в старину сам себя прозвал на заграничный манер. Молод был, так перед девками хвастался, что он на всяких языках научился. А по-нашему ежели, по русскому, ха, ха, ха! по-простому, так это

выйдет – человек на все руки, – и в рай, и в муки. Да вы его, ежели вам скучно у нас, по-  
расспросите только, поразглядите, – чудород,  
я вам доложу-с, – ей-богу! Я, сударь, признаться,  
рос с ним – с этим самым майором, и как в  
те времена каменной дороги еще не бывало,  
то наши родители шли больше насчет щети-  
ны. Признаться, тогда сухопут был большой, –  
ну и обыкновенно родители наши хаживали  
тем сухопутом со щетиной в Москву, такожде  
с салом, с кожами, а бывало и иное: зани-  
мались, примером, насчет пера, пуху... Вот  
мы и растем. Растем и играем. Наши игры де-  
ревенские, известно какие, – что увидишь, в  
то и играешь: орлишка молодого в грядках  
увидишь, его представляешь. Притаишься  
так-то, съежишься весь в каком-нибудь угол-  
ку и для того чтобы у тебя, как у орленка, гу-  
бы белые были, то возьмешь, примером, слю-  
ны этак языком наточишь, да в каму к соседу  
и бухнешь украдкой...

В редьку тоже, бывало, примемся, – про-  
должал хозяин. – Друг за друга ухватимся –  
орем: «Дергай!» Майор всегда всех повыдерги-  
вал – силен был!.. Переняли, сударь мой, и мы

от родителей наших торговлю – и пошли по ней в тихости с господом богом. Только вдруг из Москвы к нам в деревню весть приходит (а в Москву Федора Васильева, как он был очень боек, мастерству учиться послали), – Федька, говорят, пропал! Известно, в деревне новостей мало, так мы годика два об Федоре поахали. Думали все: как так? Куда наша заноза девалась?..

И вот, барин, как теперь вижу: сидим мы однажды на вечеринке, болтаем с девками, только вдруг входит к нам мужчина и говорит: «Вот они мы-то!» Смеется. Мы сразу Федор Васильева признали и обрадовались ему. Спрашиваем: как? что? Где пропал?

Пошел он тут пробираться нас стихами и прибаутками: был я, говорит (и все это скороговоркой отваливает!), в Италии, немного подалее, – был в Париже, немного поближе. Со всем было родимую сторону позабыть хотел, да пришедши на четвертое небо, опрос получал: а где, говорят, у тебя, детинка, пачпорт?.. Должен был по эфтим делам вертаться назад к батюшке с матушкой...

В лоск уложил он своим стихом всю ком-

панью; а сюртук был тогда надет на нем суконный, распервый сорт! Фалбара назади за-пущона, – взгляни да ахни! На жилетке цепочка блестит, – фу-ты ну-ты, перевернись! Ходит он так-то по горенке, сапогами поскрипывает; а девки на него так глаза и уставили, словно бы коза перед обухом...

Садим мы наконец тово Федора играть с собой в карты, в три листа. Сел – ухмыляется и ус поглаживает. Ну и обгладил же он нас вместе с этим усом! Каждый кон, каждую сдачу он, вражий сын, возьмет, да всем хлюсты и навертит, а себе три туза и обнаковенно огребает себе деньгу, яко щучину... Но чести приписать ему надоть, – в конец не сфальшивал. Обругал он нас всех заодно нехорошим словом и девок не постыдился, а прямо это, сударь, напрямки запустил. Где вам, говорит, со мною играть? Поприутерли бы себе носы прежде. И тут же нам всю механику объявил, то есть как хлюсты подбирать; а деньги какие выиграл, с маху все пропил вместе с нами, по товарищески, а кое девкам и ребятенкам на гостинцы бросил. Мы, толкует, в этой гнили не нуждаемся; а сам все цепочкой-то своей

пошевеливает...

Еще пуще у девок глаза на него разгорелись; а бабы, так те пристали к нему с умильными расспросами: ну, как же ты теперича, Федор Васильич, купец али до господ дослуужился?..

Засмеялся он тогда и зычным голосом вскрикнул: «Милые товарищи! Гайда в харчевню! Нечего нам, удалым молодцам, с бабьем речи тратить...»

Так и не дал бабам никакого ответу!..

Што, сударь мой, было тут у нас, у ребят, всякого буйства, я и сказать тебе не умею. Бесились года с два. Не только наша деревня, а даже какие по соседству с нами сидели, насквозь пропились... Соберут, бывало, нас старики на сход, – сучинять примутся: «Ребятки! детищи наши! Побойтесь вы господа бога, – войдите в разум! Ведь вас Федор, ровно бы бес, обуял». Глядя на стариков и мы прослезимся, бывало, – примемся в ноги им кланяться... А ночью, глядь, он уж и орет: «Эх-эх-э! Молодчики, вы что же это? Своих стали в обиду допускать? Кто с Федор Васильевым за ведром отправляется?..»

Ни за что, бывало, не стерпишь, как это он таким манером погаркивать примется! Гужом за ним все: иной из лавки к нему летит, иной из-под отцовского караула шарахается, а те от жен улепетывают... Гам по деревне-то, плач, драки; а мы-то себе на всю-то ночь-ноченскую закатимся! Грянем это песню, в гармонии вдарим, в балалайки... Дорога-то у нас, бывало, стоном стонет: о-го-го! по лесам-то, бывало, гудет... Вот они как, Федор Васильичи-то маклируют!.. Вал-ли!..

Эх, раздолье! только, бывало, пошумливает Федор Васильев. И шут его, прости господи, знает, откуда он только выкапывал деньжищу эту страшенную? Все ведь эти оравы, какие с ним хаживали, нужно было ублагоотворить до отвалу. Только, бывало, подплясывает да подсвистывает. Гуляй, молодцы! Наша взяла!

Вдруг, глядь: опять наш Федор Васильев сгас. Сгиб, словно в воду канул...

Вошли мы маненько после него в разум – и перекрестились: слава, мол, тебе, господи! Улетел, сатана!..

С немалым страхом наблюдал я после над

кочевавшим из кабака в кабак с разными субъектами Федором Васильевым, отыскивая в нем ужасные черты того сатаны, от которого открещивалось, бывало, целое население. Действительно, огромная голова, окаймленная лесом седых волнистых вихров, делала этого человека похожим на статую Нептуна; но голова эта до того беспомощно клонилась к груди... А лицо так уж совсем не соответствовало грозно-божественным очертаниям головы: оно представлялось испуганным и болезненным, словно бы какая-нибудь сильная рука долго сжимала его в своем громадном кулаке и потом, вдруг отпустивши, оттиснула на нем таким образом следы своих линий в виде красных и синих морщин. По временам, впрочем, лицо это освещалось какою-то особенной энергией, однако вовсе не той, от которой, по рассказу содержателя постоянного двора, когда-то стоном стояла дорога и разбойники гай-гакал лес. Напротив, старик выражал ее озадаченным обращением красноватых глаз к небу, колочением себя по растегнутой груди и нервическим дрожанием тонких бледных губ.

В таком непобедимом всеоружии майор часто устремлялся в самую середину целой толпы друзей, только что сейчас угощавших его и которые теперь из кабацкой духоты выбрались на шоссе с целью разрешить какой-то, должно быть, весьма важный и до крайности запутанный спор. Громкий, смешанный гул множества голосов, мускулистые, высоко махавшие в воздухе руки и наконец клочья летевшей во все стороны холстины и пестряди – все это делало спор до того оживленным, что и проезжие люди, и мимо пробегавшие собаки описывали большие дуги для того, чтобы не быть втянутыми в круговорот этой неописанной страсти и не завертеться самим вместе с нею так же бешено, как вертелась она.

– Мил-лые! Гарнадеры! Да што же это вы, – Христос с вами? – вопрошал старик, безбоязненно бросаясь в самый разгар возбужденного на шоссе вопроса.

– Капут теперича майору пришел, – потолковывали издали молодцы, вышедшие с гармониками полюбопытствовать для ради скуки насчет того, какая такая на дороге потеха

идет. – Уж кто-нибудь его там саданет!.. Ха, ха, ха!

– Надо так полагать, что «съездиют», – рассуждали другие, хладнокровно ожидая счастливых результатов от предполагаемой «езды».

«Езда» между тем в самом деле была до того необузданно быстра, что при одном намерении не только прекратить ее, а даже просто-напросто подступиться к ней, дух захватывало... Наподобие громадного, во все пары пущенного механизма, злобно, но непонятно ревела, стучала и грохотала мудреная поэма этой шоссейной «езды».

– Каков ты есть своему дому хозяин? – козелковато, но еще состоятельно подщелкивал буйству главного голоса в механизме другой зубец, острый и, должно быть, из самой крепкой стали...

– Мы хозяева! – глухо ответил еще зуб, видимо тупой и пугливый, потому что, скрежетнув один раз, он только через долгое время повторил свое: «М-мы хозя-ва!» – и затем окончательно был заглушен тысячью других голосов, хотя менее слышных, но зато до то-

го дружных и бойких, что сквозь их слитно жужжавшую песню изредка только вырывалась азартно басистая нота: «Н-не-ет! С-стой! Шал-лишь!..»

– А право, сомнут они у нас старика. Ишь ведь вертит как, – мельница словно! – перебрасывались словцами зрители с гармониками.

– Беспременно! Как пить дадут, – соглашались другие. – Поминай теперь Федор Васильича, как его по имени звали, по отчеству величали. Они ведь, эти плотники-то владимирские, черти! С ними поиграй только, так сам в дураках останешься... Ха, ха, ха!

– Быдто это плотники? Истинно черти! Сцепились как, – никого и не признаешь. Только ключья летят. И рубахи стали не миль, даром што жены пряли...

Скоро, впрочем, хор, привлечший публику, стал понемногу ослабевать, – и потому из него вырвался другой, знакомый голос майора, из всех сил выкрикивавший такую молитвенную скороговорку:

– Братцы! Да что же это вы? Перекреститесь! Плотнички-умнички! Что это вы, гос-

подь с вами, как себя надрываете! Петя-голубчик! Перестань лютовать. Всех ты, петушок, пуще надсаживаешься... Ведь это он в шутку насчет, то есть, жены... Где ему?.. Полковнички, целуйтесь живее! Н-ну, мир! А ты тоже галдишь: мы-ста хо-зява! Над чем это ты расхозяйничался спьяну-то?.. Про тебя вон тоже ваши ребята толкуют, как ты рожь мирскую зажил. Семь, друг, четвертей – не картофельная похлебка. Только что-то добрые люди мало им верят, ребятам-то вашим. Так-ось! Ну, мировую што ль? Ходит? Я уж, брат, знаю... Хе, хе, хе!

Певшая с такою дикой энергией машина совсем расхлябла от этого голоса. Как бы в глубокой устали она изредка только попыхивала своими первыми басистыми голосами, между тем как голоса второстепенные, прежде было забравшие так бойко и дружно, теперь окончательно замолчали... Наконец машина затихла совсем, как бы остановившись, – и тогда уже явственно можно было видеть кучу людей, из которых одни целовались, с видимой целью помириться и на будущее время жить как можно дружнее, другие

умывали окровавленные лица, третьи отыскивали сбитые с голов шапки и сорванные с шей кожаные кошельки.

– Ишь ведь идола расщепались как! Ополумели ровно, – удивлялся деревенский публикат. – Батюшки! Светупреставление, как есть! Гляньте-ко: у Федоски-то носа нет, только кровь одна!.. Ха, ха, ха! Урезонили же его...

– Добрые! – похвалил наш майор кучку людей, теперь дружно и тихо о чем-то совещавшихся. – Что за ангелы ребята, – сейчас умереть! И оказия же только с ними приключилась, – ей-богу! Допрежь все артелью живали, друг за друга горой стаивали...

– У тебя все добрые! – с недовольством отвернувшись от старика, ответил ему содержатель постоянного двора. – Палка-матушка плачет по этим по добрым-то. Буйства какого наделали посередь белого дня. Тут, брат, тоже господа проезжающие разъезжают...

– Э-эх ты, друг сердечный! – почему-то пожалел его старик. – Пр-роезжающие!.. Што же теперь, и слова нельзя сказать никогда?.. Проезжающие!..

Проговоривши это, Федор Васильев сми-

ренно поплелся к кабаку, из окон и дверей которого давно уже ласково и плутовски-секретно подманивали его какие-то чем-то как бы переконфуженные лица толстыми и мозолистыми пальцами...

Проснувшись одним утром, я увидел, что обжитая мною комнатка вмещает в себе не одну мою тоску. На полу, в уголке, как раз напротив моей кровати, застланной пахучим сеном, лежал какой-то серый армяк с длинным кожаным воротником. Из-под армяка, с тем многознаменательным молчанием, которое примечается в ржавых старинных пушках, расставленных по некоторым нашим городишкам, в видах напоминания славных отечественных событий, на меня сурово и презрительно поглядывали большие, но истасканные и грязные сапоги. Затем уже виднелась косматая, седая голова, безмятежно покоившаяся на большом, костистом кулаке.

– Ну уж это ты, майор, напрасно так-то, – сердито заговорил содержатель постоялого двора, входя ко мне в комнату с звонко кипящим самоваром. – Я, друг, вашего брата не очень одобряю за такие дела. Эва! К господину в горницу затесался!.. Хор-рош!

– Толкуй про ольховые-то! – по своему обыкновению не задумываясь, ответил май-

ор, живо выхватывая из хозяйских рук самовар и устанавливая его на столе. – Я, брат, теперь сам стану служить барину, потому я очень его полюбил со вчерашнего числа. Мы с ним таперича без тебя обойдемся чудесно! Ему со мною веселее будет, а я тоже за его харчами приотдохну малость... Где у тебя чай-то, полковник? В шкатулке, што ли? Так ключ подавай.

Я покорно подал старику бумажный картуз с чаем.

– Вот это чаек! – понюхивая и заваривая чай, толковал майор. – Это, брат, признаться... Точно, что чай! Рубля три небось отсыпал за фунт-от?.. Этого, друг, ежели чаю попьешь, – наставительно обратился он к хозяину, – так, пожалуй, и опохмеляться не захочешь, сколь бы в голове ни звонило... А ты опохмеляешься по утрам-то? – перескочил он вдруг ко мне. – Дай-ка на косушечку, я прихвачу покамест на свободе. Оно перед чайком-то, старые люди толкуют, в пользу...

– Вот всегда такой бес был! – осуждающим тоном заговорил хозяин после ухода старика. – Н-нет! Я вам, сударь, вот что доложу: в-

вы его в жилу! Я уж от него отрекся. Не раз и не два выкурить от себя пробовал, – нейдет, хоть ты што хошь... Только и слов от него, что притворится сейчас казанской сиротой и начнет тебе про добродетель рацею тянуть: куда же, говорит, я денусь, добрый? А винище... небось!.. Такой фальшивый старишка!.. Чай прикажете наливать? Как изволите кушать: внакладочку али с прикуской? Лимонту у нас на днях партия из Москвы получена; ах, сколь крупен плод и на вкус приятен! Мы с старухой по тонюсенькому вчера ломтику в чай себе положили, дух пошел на всю спальню. Молодцы пришли из стряпущей – спрашивают: от чего от такого, говорят, у вас, хозяин, такие благоухания? Право, – ей-богу! Мы, значит, с старухой засмеялись и осмотреть им энтот самый фрукт приказали. Дивились очень. Что значит простота-то! Хе-хе-хе! Так прикажете лимончику, – мы сейчас сбегает. Ну а майора, конечно, как, к примеру, мне постояльца своего покоить нужно, кормить-поить его подобает, то вы точно што извольте его от себя вон. Потому, – добавил хозяин с шутливой улыбкой, – кроме как он

вас обошьет и обьест, он сичас в горницу к вам может иное што пустить. Так-тось! Мы довольно даже хорошо известны, сколько разведено у нищих этой самой благодати. Я уж его и не спускаю никуда, кроме как на сеновал, либо на печь в избу с извозчиками. Для ихнего брата это все единственно... Привыкши!..

– Полно тебе судачить-то! – перебил хозяйскую речь возвратившийся майор. – Небось он тут про меня тебе наговаривал, штобы, то есть, майора в три шеи. Зверьками, надо полагать, моими тебя запугивал? А ты их не бойся, андельчик, потому они для горьких сирот – все одно што золото... Ну-ка начинай, полковник, малиновку, – потом я за тобою с молитвой...

– Так-то, друг! – развеселял старик иногда недолгие дни нашего с ним дружного сожительства, когда в них вкрадывалась какая-нибудь пасмурная, молчаливая минута. – Вот, брат, мы таперича вместе с тобою живем. Живем-поживаем, добро наживаем, а худо сбываем... Тоже и я сказки-то знаю, – не гляди, что старик. Што приуныл? Авось не в воду

еще нас с тобой опускают. Сбегать, што ли? – подмаргивал он глазком в сторону одного увеселительного заведения, которое всегда снабжало его самыми действительными лекарствами от всех болезней – душевных и телесных.

Энергии и уменью старика, с какими он, смеясь и разговаривая, подметал комнату, зашивал свою рубашку, наливал чай, ваксил сапоги, предательски захваченные еще с вечера на соседний с нашим жильем сеновал, – решительно не было пределов. Вообще это было какое-то всеми нервами дрожавшее и певшее существо тогда, когда ему приходилось выхвалять доблести посторонних людей и как-то странно унывавшее и съезживавшееся в случаях, ежели чье-нибудь любопытство старалось заглянуть в его собственную жизнь.

Неустанное шоссе движение, которое мы обыкновенно созерцали со стариком с балкона, вызывало в нем тысячи рассказов, имевших целью не только что познакомить меня с промелькнувшим сейчас человеком, но, так сказать, ввести в его душу, взглядеться в нее, вдуматься и потом уже, вместе с ним,

одною согласною речью удивиться той несказанной доброте, которая, по стариковым словам, «сидит в этой душе испокон века».

– Друг! Проснись! – поталкивал он меня локтем в бок, когда я принимался за какую-нибудь книгу или просто так о чем-нибудь задумывался. – Вишь: самовар-от как по-пыхивает! Глядеть лучше будем да чай пить, чем в книжку-то... Смотри, сколько народу валит, беда!

Начинались нескончаемые, одни другой страннее, характеристики проезжающего народа. Рассказывались они так же быстро и смешанно, как быстро и смешанно, обгоняя друг друга, стремились куда-то дорожные люди.

– Майор! Как это тебя на балкон-то взнесло? – шутил какой-то благообразный купец, остановивши напротив нас свою красивую тележку. – Братцы мои! Да он с господином чаи расхлебывает да еще с ложечкой!.. Ужпил бы ты лучше мать-сивуху одну, – вернее. Слезай – поднесу.

– Надо бежать! – говорил мне майор, после запроса, предложенного им купцу, относи-

тельно благоуспешности его дел. – Человек-то очень хорош. Больно покладистый гусар! Ты не глуши самовара докуда, я мигом назад оберну.

Возвращался старик со щеками, нежно подмалеванными ярко-розовой краской. Благодарно покашливая, он потчевал меня гостинцами, полученными от купеческих щедрот, и говорил:

– Кушай колбаску-то, не брезгай! С чесночком! Она, брат, чистая, только из лавки сейчас. Яблочком вот побалуйся. Н-ну, друг, вот так гражданин!

– Кто?

– А вот этот самый, который угощал-то! Капиталами какими ворочает, не то что мы с тобой. И с чего только, подумаешь, взялся человек? Помню я, мальчишкой он иголками торговал. А теперь у него по дороге калашных одних штук двадцать рассыпано. Кабаков сколько, постоянных дворов, – не счесть! На баб какой молодчина, так и ест их поедом: женат был на трех женах – и все на богатых. Родные ихние как к нему приставали: отдай, говорят, нам обратно приданое, но он на них

в суд. Умен на эти дела, – всех перетягал... Теперь принялся огребать любовниц. Как попадет к нему какая, уж он ее вертит, до тех пор вертит, пока она ему всех потрохов-то своих не выложит. Нонишной порой обработал он вдовую помещицу – и живет с ней. Помещица как есть настоящая барыня – и с имением. (Уж все именье-то, дура, под него подписала.) Так он, сударь ты мой, так ее вымуштровал, так вымуштровал... Ты, говорит, музыку-то эту забудь, а учись-ка лучше калачи печь. Што же? Ведь выучилась. А как она ежели в слезы когда али в какие-нибудь другие бабьи капризы ударится, он сейчас ее на цельный день садит в ларь продавать калачи. Извозчики-то грохочут, грохочут. Иному и калач-то не нужен, а все же подойдет: над барыней, как она, значит, мужику придалась, посмеяться всякому лестно...

– Да что же тут хорошего, дед? По-настоящему-то он мерзавец выходит.

– А я про што ж? – отвечает дед. – Ты думаешь, я его хвалю за это, што ли? Да я его онамедни вон в энтой харчевне, при всем при народе, так-то ли отхвостил, – не посмотрел, что

богач. (Признаться, были мы с ним тогда здорово подкутимши.) Я шумлю ему: зачем ты из своих работников кровь пьешь? Зачем им денег не платишь, – по мировым да по станovým поминутно таскаешь? Попомни, говорю, меня: уж накажет тебя господь бог за такие дела, взыщет он с тебя за рабочие слезы, за каждую капельку... Што же ты думаешь он мне в ответ на это? Заплакал ведь, – самую что ни есть горячей слезою залился и говорит: «Перестань меня срамить, Федор Василич! Чувствую сам – взыск с меня большой будет на страшном суде; но иначе жить мне невозможно никоим образом. Сначала, говорит, мошенничал я кое от бедности, кое себя от других аспидов сберегал, а теперь привык, втянулся... Надуваю когда какого человека или просто, смеха для ради, каверзу ему какую-нибудь подстраиваю, все нутро изнывает у меня от радости, – голова, ровно у пьяного, кружится... И никакими манерами в те поры мне совладать с собой невозможно... А што, говорит, Федор Василич, насчет сердца, так я очень добер: бедность всячески сожалею и очень ее понимаю; но только чтоб я помог

ей, – никогда! Хошь расказни, так ни гроша не дам, потому как только она, бедность-то, пооправится, встанет на ноги-то, пооперится безделицу, над тобой же надсмеется и тебя же обманет...»

Ведь што только придумает человек на свою муку? – продолжал старик в сильном раздумье. – Вот ты тут и суди про людей. Я, друг, как услышал от него такие слова, не стерпел: сам заплакал – и не токма што срамить... Уж до сраму ли тут, когда видишь, что человек об своих грехах сокрушается не слезами, а всей кровью... Утешал, утешал я его, так и бросил, потому принялся он в трактире скатерти рвать и посуду бить... Харчевнику это на руку, потому богач, – очнется, за все на-ликом платит... Еще харчевники-то нарочно таких людей поддражнивают:

«А ну-ка, говорят, разбей посудину при мне... Ежели бы ты, – натравливают, – при мне смел этак сбедокурить... А ну-ка, ну-ка тронь!.. Тронь!..» Так-то друг! Можно, можно, сердечный, к такому привыкнуть, – самому на себя глядеть тошно будет... С кем поведемся... По себе знаю...

Думалось в это время, что старик, по любимому людскому обычаю, сейчас же начнет рассказывать какие-нибудь события из своей собственной жизни, которые бы подкрепляли его мысль насчет человеческой способности переламываться и склоняться в сторону, совершенно противоположную прирожденным влечениям, – так и ждалось, что вот-вот из старикинской памяти вырвутся рассказы и воспоминания о тех людях, связь с которыми научала его по себе знать и видеть разнообразные человеческие немощи, подвигающие на участие к ним, там, где другие люди видят одни грехи и преступления, достойные кары...

Но никогда не исполнялось мое ожидание. Подкарауливши за собою словцо «по себе знаю», старик съезживался, конфузливо и секретно поглядывал на меня, бормотал что-то вроде того, что слово не воробей, а летает, – и наконец стремительно перескакивал к другим людям и толковал о других людях, попадавшихся на его зоркий глаз.

Оглушающее и слепящее жужжанье и роевые разнохарактерной шоссейной толпы ни-

чуть не смущало старика и ни на волос не отвлекло его от глубоко засевшей в нем мысли – неизбежно заканчивать самым оправдывающим и даже хвалебным акафистом все свои повествования о различных жизненных промахах шоссейцев, об их умышленных подлостях, пошлостях, как говорится, с дубу и т. д. и т. д.

– Што доброты в этом человеке, боже ты мой! – неопределенно покивывая на кого-то головою, задумчиво говорил старик. – Вот уж, ей-богу! Зависти во мне ни к кому, а ему, ежели он примется людям милостыню делать, завидую, – в этом я грешон! Рубаху он тогда с себя скидывает, – смеючись благолепно нищенькому ее отдает, – на плечи к нему с целованием братским головою поникнет и, плачучи, скажет: «Ах! нет у нас с тобой силушки-матушки! Потерпим собча, друг мой сердечный, во имя господне!..»

– Это ты, дедушка, все насчет купца?

– Какое там лешего про купца? – сердился дед и тыкал пальцем на шоссе; а там шагал какой-то высокий, с коломенскую версту, рыжий человек, худой и бледный, в обдерган-

ном тряпье и босовиках, на которые прихотливыми фестонами опускались концы пестрядинных штанов. Шел этот человек широким, но медленным шагом, опустивши голову и сложивши руки на груди. По временам его ввалившиеся, бледные щеки вздувались – и тогда он болезненно кашлял. Гулко раздавался по деревушке этот октавистый, напоминавший гневное львиное рыкание, кашель; но старик, не обманываясь силой этого голоса, говорил мне:

– Ты на голосину на эту не гляди! Недолго ей на сем свете осталось гудеть. До осени, может, как-нибудь перетерпит. Он к нам годов с пятнадцать тому прилетел и стал наниматься траву косить. Говорит: больше ничего не умею! а у нас, я тебе скажу, ежели захожий человек хорош, так насчет пачпортов слабо. Дал там что-нибудь Гавриле Петровичу (писарь у станового живет) от своих трудов праведных, – шабаш! Живи – не тужи! Вот он и живет у нас да косьбой и дроворубством себя и пропитывает...

В этом месте рассказа старик наклонился к моему уху и таинственно зашептал:

– Мы, брат, друзья с ним бедовые! Он из Москвы, и отец у него, как бы тебе сказать, потомственный почетный гражданин. За свою торговлю самим царем произведен во дворяне и имеет у себя на шее генеральские звезды все до одной. Ну, а этот из юности еще маненечко рассудком тронут... От библии... Пристал, сказывают, любименький сынок к отцу, штобы он, к примеру, роздал бы, как Иисус Христос повелел, все свое имущество бедным... Отец его сначала лечить принялся, а он ему все: «В тебе, говорит, тятенька, правды нет! Ты, разговаривает, царства небесного не наследуешь». Старик смотрел-смотрел на него, да и проклял... Он вот взял прибежал к нам – и живет, – смирно живет: дрова рубит, сено косит, – рыбки вон тоже кое-когда случается ему изловить, – продаст – и питается. Смирно живет, только в случае, ежели пьяная муха ему в голову залетит, к богачам всячески придирается... Терпеть их не любит! А место у нас, сам видишь, бойкое, – проезжает всякий человек. От скуки, известно, полоумного всякий напоит, а он после этого, только встретит кого мало-мальски с мощной, – сей-

час руки в карманы, по-барскому, и пошумливает себе: «Дорогу дай московскому первой гильдии купцу Афанасию Ларивону! А то морду расшибу...»

Бьют его, – страсть как наши-то – и смеются! Поначалу, когда еще силен был, отбивался – и сам всех больно колачивал; теперича ослабел! Я вот иной раз умаливаю, штобы отпустили... Опохмели ты его, Христа ради, голубчик! У него и радостей только всего осталось, что ежели сердце потеплеет от выпивки. Ах, и добродетелен же этот человек перед господом богом! Дай мне, дурачок, гривенничек, – я ему снесу. Бог с ним! Ты не жалея, брат, денег-то! Пусть он повеселится перед своим последним концом...

Таким образом шла наша жизнь с стариком, как он говаривал, в полном удовольствии, без обиды...

– Ах, анделы небесные! – восклицал он в минуты внезапно откуда-то наплывавшего на него счастья. – Как это я, с самого с измальства, люблю жить с людьми тихо, скромно, благородно...

– Дело ведомое! – сатирически соглашался

с ним содержатель постоянного двора, случайно подслушавший стариновское воззвание. – То-то, должно быть, твое благородство и проходу-то никому никогда не давало... Мальцом был, колотил всех...

– А дражнили вы меня очень, сердечный! Нельзя было иначе-то... Опять же глупость моя... Силенка тоже... Э-эх-хе-хе! Друг! Друг! За это взыскивать рази возможно?

– Вырос, из ученья убег – пропал...

– Люди нехорошие соблазнили, мил человек! Опять же холод энтот мастеровой, голод... Ночей не спали, черствого куска не додали... Ты поживи-кось в Москве-то, друг! Недаром про нее пословица ходит: Москва, говорит, слезам не верит... Тут, братец ты мой, за кем хочешь пойдешь, как бы собака какая голодная... Перед всяким хвостиком-то повиляешь...

– Што ты мне про это разговариваешь? – сердито продолжал свое обвинение содержатель постоянного двора. – Ну прибегши к нам, што ты стал делать? Опаивать, на всякое буйство травить... Какой ты есть человек?

– А это мне с товарищами – с друзьями –

желательно было кручину мою разогнать...

– Сговоришь с тобой – с бесом! Зачем же ты опять-то пропал?

– А надоели вы мне!.. – без запинки отвечал старик. – Опротивели хуже соленого озера – вот я и ушел. Опять же к тому времени у меня еще охота приспела – постранствовать, святым местам помолиться, хороших людей посмотреть...

– З-знаем! – угрюмо говорил хозяин, выходя из комнаты и мимоходом бросая, видимо ко мне уже направленное, замечание насчет где-то будто бы существующих господ, которые до того бесстыжи, что водятся со всякой шушерой.

– Мужик, так и то из одной милости, ночевку дает, можно сказать, ради Христа; а тут на-ка! За один с собой стол пуцают... Шуты!

Таким образом, чем теснее устанавливалась наша с майором дружба, тем хозяйские нападки на него делались чаще и ожесточеннее.

– Он всегда так! – извиняющим шепотом говорил мне майор после трепок, задаваемых ему нашим общим патроном. – Он не любит

этого, чтобы, то есть, я к евойным господам  
вхож был. Всегда, всегда так!.. А то он до-об-  
рый!.. Ты на него не жалобься. Он, брат, гляди  
какой! Просто, я тебе скажу... Поищи такого  
другого... Старик при этом пугливо посматри-  
вал на дверь, обладавшую способностью рас-  
страивать наши тихие беседы, как бы ожи-  
дая, что вот-вот отворотится она – и покажет  
нам сперва седую, иронически улыбающуюся  
голову, потом ярко вычищенные дутые сапо-  
ги, которые, сверх всякого человеческого  
ожидания, заговорят нам живым языком, в  
одно и то же время и снисходительно и  
упречно:

«Ну что, мол, друзья? Как вы тут? Позволь-  
те на вас посмотреть?»

– Хороший он, брат, человек, – все более и  
более оправдывался старик под влиянием  
ожидаемого ужасного видения. – Он тебя обо-  
рвать – оборвет, – это правда! Потому у него  
зуб уж такой... Но зато, ежели бы ты знал, как  
он меня милует?.. Ведь я тоже в старину о-ох  
какой был! Ягода малый! Ведь это он про ме-  
ня всю правду-матушку режет. Много тоже и  
мы добрым людям тяготы понатворили. Запи-

вахой был, буяном, драчуном был, – добрым человеком только не был... Нечего греха таить!..

Большой страх нагонял содержатель постоянного двора на старика, так что ему надобилось очень много времени для того, чтобы свалить с себя тяжелое впечатление и снова войти в колею своих нескончаемых восхвалений мелькавшей перед нами жизни, точно так же как и с моей стороны требовалось изрядное количество малиновки, чтобы он скорее и успешнее мог из мокрой, застращенной курицы превратиться опять в майора и вместо унылого раскаяния в своих собственных прошлых грехах принял за убранство этой убогой людской суетни сокровищами своей доброй души.

– Уех-хал! – вдруг иногда восклицал старик, живо порешивши с тем оцепенением, которое навел на него дворник. – Слышь, енерал? За сеном отправился хозяин-то наш! Ишь как покатил, добренький! Ах, жеребчик этот у него справедлив очень; у мужичка тут он его у одного по соседству за долг заграбастал – и мужичок этот, я прямо тебе скажу:

несчастненький такой, – овдовел, сам-сем с ребятишками остался с маленькими; теща в суд его, пить принялся; зовет он, признаться, меня в отцы к себе...

«Чем тебе, говорит он, Федор Василич, по чужим людям шататься, приходи-ка ко мне. Авось на печи место найдется». Ну, а я, когда он со мной начнет этаким манером разговаривать, думаю про себя: вот клад нашел, чудачок! К малым-то да еще старого захотел приспособить... Нейду, – право слово! Думаю: лучше же я по улочке как-нибудь разойдусь, – по крайности, хоть разомну жениховские кости, чем им на чужой печи-то валяться... хе, хе, хе!

Пользуясь драгоценной свободной минутой, старик встаскивал на балкон живо вскипяченный самовар, – с стремительностью, свойственною только обезьянам да сумасшедшим, бегал из лавки в кабак, из кабака в белую харчевню, где отыскивал всевозможные произведения природы и искусства, имевшие сугубо скрасить наш праздник, и наконец, запыхавшись, он садился напротив меня, освещал меня широкой, по всей бороде его сиявшей улыбкой, и говорил:

– Получай сдачу! Три, брат, гривенничка! Нарочно новеньких выпросил. Пущай, мол, думаю – он их в клад положит... А ты думал как? Ты, может, думал – утаит, мол, майоришка мои деньги... Как же! Я з-знаю: ты и сам мне дашь. Хе, хе, хе! Ну, будь здоров! Тебе налить перед чаем-то?..

Затем наша комната наполнялась разновозрастными ребятишками, которые, картавя и взвизгивая от каких-то внезапно приспевших радостей, вскакивали к старику на колени, дергали его за бороду, щелкали его по лысине, воровали приобретенные им произведения природы и искусства и с громким хохотом толковали мне:

– Балин! Акшан Фаныч! Сто ты сталика не выгонись? Ево все у нас по сеям гоняют... Мамка говорит: он – дулак, пьяница!.. Ха, ха, ха!

Старик барахтался с детьми, удерживая на своих коленях целую охапку всевозможных шалостей, и в то же время таинственно подмаргивал мне: гляди, дескать, как разбесились! Уйму нет никакого! Смотри – не спугни только; а то все это веселье живо слетит с

них, как птицы с дерев...

В полуотворенную дверь нашего обиталища, смеясь и робея, поглядывали какие-то люди, с которыми я отчасти был уже знаком благодаря рассказам майора и которых, обыкновенно, мой хозяин сурово отгонял от своего дома. Видимо было, что им очень желалось проникнуть в комнату, но из какой-то боязни они не шли внутрь нашего светлого ребячьей радостью чертога, а только почтительно улыбались и нерешительно толклись на одном месте.

– Што заробел? – ободрительно крикнул майор какому-то старику, вставившему в дверь свою жидкую, черную с резкой проседью бороду. – Ай ты не видишь, к какому ты барину пришел? Не тронет, – будь спокоен!.. Не пьянство тут какое у нас идет, – Христос с нами!

Ободренный этим приглашением, старик входит к нам и сочувственно спрашивает:

– Што, уехала ваша кандала-то?.. Запировали?

– Уехала, брат! – торжествует майор. – За сеном укатила, только бубенцы зазвенели...

Ха, ха, ха! Пей чай, – садись!

Посторонний старик, желая показать мне свою серьезность, не имеющую ничего общего с звонкой веселостью набравшихся в комнату ребят, начинает со мной солидный и вместе с тем нежно-ласкающий разговор:

– Позвольте, сударь, спросить, в каком чине вы находились?.. Видим – живет у нас барин... Очень это антиресно...

– Што ты эту пустяковину-то разводишь? – укоризненно перебивает майор нескромный вопрос. – Ты прямо говори: желательного, мол, мне, сударь, водочки у вас пропустить... Вот тебе и сказ весь! А то в каком чине?.. Кушай-кось на доброе здоровье! Не обидит, – будь спокоен. Сказано уж! в каком чине... Ну-ка перекрестись!..

Дым пошел у нас коромыслом! Ребятишки весело возились, отбивая друг у друга какую-то картинку, найденную ими на столе, – майор хохотал и подзадоривал их; а посторонний старик, сделавшийся уже непритворно серьезным, то грозно прицыкивал на детей, представляя им всю несообразность их буйственных поступков, проделываемых пе-

ред барином, то с манерой, обличающей самого светского человека, указывал перстом на розовый полуштоф и спрашивал меня заплетающим мыслете языком:

– Ваше высокоблагородие! Можно еще... Будьте без сумления: м-мы не какие-нибудь... Сами во всякое время во всякий час можем ответить хорошему человеку за его угощение... Тоже вот состоял у нас на знакомстве гос-сподин полковник один, из военных... Так это, примером, на плечиках у него золотые палеты лежат... Он мне однажды говорит: друг-г!..

– Пош-шел ты, господний человек! – прекращает майор эту откровенность, наливая знакомому с полковником человеку полный стакан водки. – Вот дерни лучше, чем небо-то языком обивать...

– Это так! – меланхолически соглашается посторонний старик. Затем он, зажмуривши почему-то глаза, медленно выпивает поднесенный ему стакан, тяжело вздыхает и задумывается о чем-то, должно быть, весьма важном, потому что задумчивость эта разрешается громким ударом по столу и буйственным

криком:

– Майор! Федр Васильев! Ты меня знаешь? Сколько раз учил я тебя? Говор-ри! Отчего ты мне – здешнему обывателю – ответа не даешь никакого? Ты кто передо мной? Червь!..

– Свалился с копыт, – шабаш! – закончил майор эту речь. – Надо пойти позвать сына сапожника, чтобы убрал отца. Добер старичок-то очень, только вот забрусит у него ежели – блажит... Ах, как блажит! Бедовый! Ты не гляди, што он беззубый совсем...

– Што это, как крепко наш тятенька захмелели? – говорил приведенный майором молодой парень в загрязненном фартуке из толстого полотна и с ремнем, опоясывавшим его голову. Потешно это, однако, как они накушались! Ах, сударь! Вы нам и не в примету, – извините-с! Мы тут, признаться, сапожники, свое мастерство открыли, потому как в Москве, у этого у самого Пироне, первым мастером бымши-с!.. Нельзя-с... Пожалуйте ручку-с... Очень приятно!

– Пей-ка вот, пей, да отца-то бери! – подносит майор стаканчик и этому молодцу. – Ах, не люблю я в молодых ребятах, как это они

одни пустые разговоры разговаривают! Рады теперича, што барин молчит... Да почем ты знаешь: он, может, теперь про тебя самым паскудным образом понимает!.. Может, он над тобою надсмеивается; а может, и жалеет он нас с тобой – дураков...

– Нет-с! Помилуйте, Федр Василич-с! Зачем же-с? А как у нас, по нашим окрестностям, нет настоящих господ... Самим вам это довольно даже известно-с... Но вместо того в Москве у нас всегда тебе папиросу дают... Извольте, говорят, вам господин мастер, папиросу, – верно-с! Потому больше все в долг отпускали... Мы вот к чему-с!..

– Ну так ты, выходит дело, и пей!..

– А за это мы вам благодарны... Вот как, – одно слово!.. Мы тоже, сударь, наслышаны об вашей простоте, – обратился молодец с своим глубоким поклоном в мою сторону, несмотря на то что стакан подносил ему майор, а вовсе не я.

Все наше так нечаянно собравшееся общество глубоко увлеклось переноской постороннего деда под его собственную кровлю. Майор кричал ребятишкам:

– Подхватывай, подхватывай его под голову-то! Ах, пострелы вы этакие! Не видят, как она у него под гору завалилась! За што же я вас гостинцами всякими угощал?

– Да што, дяденька, – плаксиво отвечали ребятенки, совсем уже бросая порученную их попечению голову. – Ты лучше к голове сам приступись, а мы за ноги будем... А то он тут-то кусается... За палец меня тяпнул сейчас...

После этой переноски, у нас сделалось еще веселее. Ребятишки начали приставлять, как большие в гостях бывают, что они там делают, – с умильными рожицами просили денег на гостинцы, – друг перед другом разбалтывали семейные тайны; а майор, балуясь с ними, в то же время говорил мне, положивши свои руки на мои колени:

– Нет, ты гляди, што у нас за ребята! У нас ребята – вор! С чево? А отцов у них нет, – вот с чево! Ха! Мы тоже, брат, кое-что понимаем, – не лыком шиты... Вот они теперича говорят: дед дурак. А кто их этому выучил? Можешь ты об этом понимать? Нужда выучила!.. Отцы все живут кое в Питере, а кое в Москве, – пишут оттуда женам: «Ежели в случае чего, из-

бави тебя господи!.. Лучше тебе живой в могилу зарыться!..» Пописывают так-то, а сами по пяти годов в погребах в московских торгуют, в услужениях в разных живут, в трактирах... И выходит такое дело, што бабы без мужьев смертной тоской тоскуют; девок без ребят тоже одурь берет; а тут жандары пришли к нам, всякий гулящий народ идет... Вот они беспутные ребятишки-то у нас и рожаются...

– Н-ну только пошли ты, друг сердечный, мне, старичку, еще кое за чем, – потому старичку тошно разговаривать об этом паскудстве... Давай, – добегу...

– Куда ты тепель пойдешь, дедуска? – говорит какой-то мальчуган, устремивши в деда черные любопытные глазки. – Ты пьян теперь. Меня лучше пошли, – я тебе живо скомандную.

– Уж тебе-то и скомандовать! – спорит другой, более взрослый малыш. – Ты вот штанишки-то поскорее учись подвязывать... Ха, ха, ха! А то тоже за вином идти хочет.

– Меня мама завсегда посылает. Дяденьки, какие ежели у нас бывают, тоже смеются надо мной, – говорят: действуй, Мишутка, в ка-

бак, – тебя не обманут... Не таковский!

– Добрые ведь; а чему с самого малолетства обучаются от этого гулящего народа – беда! – лаская ребятишек, жалуется мне старик. – Из люльки прямо – марш в кабак! На всякий соблаз, на воровство, на буянство на всякое. Ох, ребята, ребята! Жаль мне вас, – до смерти жаль, а поделать с вами ничего не могу... Ничего нет у деда, – обеднял дед!..

Старик наклонился к моему уху и зашептал:

– Вот я у тебя пальто вижу. В залишке оно у тебя и ни к чему тебе не пригодно. Отдай ты его вот этому ребеночку. Какую рацею я тебе доложу! У добрых людей у иных от ней сердца обмирали. Семь человек их – вот таких великанов – в доме живут – и хозяйством управляет этакая ли старуха! Узнаешь, – засмеешься!.. Одиннадцать, брат, годов, – вот в какую старость пришла! Кажись бы этим воровьятам колеть нужно, – нет, живут. Истинно господь бережет, потому соседи любезные точно что свои руки к ихним головенкам сиротским любят прикладывать: даже пухнут у них головенки-то!.. Хе, хе, хе! дай пальтишеч-

ко-то, – я снесу хозяйке, старушке-то божьей... Она всю семью им обернет. Голубь мой! Не зри ты старика, што старик по какой-нибудь корысти орудует...

А отчего гнездо в раззор пошло? Вот отчего; муж жене пишет из Москвы: «Дошли как до нас слушки насчет ваших негодных делов, то мы объясняем вам, что шоссейному вахтеру этому головы на плечах не сносить и вам тож...» Мужик спльчивый, – все знали. Замотали соседи головушками, – думают: как это у них пойдет? Очень это антиресно! Но только вахтер, наслышамшись про мужицкую правду, со страху запился и сбежал куда-то... За ним и бабенка укатила. А мужик словно угорелый прибежал на деревню – кричит: «Где, где они, идолы? Уж отыщу же я их!» Да вот четвертый год все и отыскивает... Отдай пальтишечко-то, – не жалей! Тебе господь за это сторицей...

– Ах, как это мы щедры на чужое добро! – вдруг налетел на нас, как снег на голову, содержатель постоялого двора с своим полунисходительным, полунасмешливым языком. – Это он насчет чего, ваше благородие,

лепортует? Насчет помощи? Можно! Ну, майор, вынимай – и мы вынем... Ха, ха, ха!

Хозяин достал из штанов длинный кожаный кошель, начал им трясти перед глазами вдруг почему-то обробевших ребятишек и говорил сконфуженному майору:

– Вынимай! Вынимай! Поможем нашим сиротинкам, чем нам чужого барина беспокоить. Ведь мы с тобой здешние обыватели, богачи... Хе, хе, хе! Раскошеливайся!

– Голубчик! – заговорил мне старик, переменяв свое обыкновенное, так нравившееся в нем благодушие на тон человека негодующего и жалующегося. – Смотри на него, как старый человек по пустякам зубы-то скалит. Ведь это он меня просмеять пред тобой норovit, шtbody ты видел, какой я перед ним обстоятельный человек выхожу...

– Ну, ну, майор, разойдись! – посмеивался содержатель постоялого двора.

– А ты думаешь, не разойдусь? Целый век протерплю?

– Про то и толкую: расходись!..

– Слышишь, барин, за что они меня майором прозвали? Вот эти милые-то... Сказал я

им, дурак, как я из купцов однажды, большую торговлю бросивши, на Кавказ в солдаты убегаю, – не продался, а по своей охоте. Думаю: посмотрю, какая такая на свете война бывает. Сижу я так-то однажды на часах, на горке, – пчелки около меня жужжат, плетеньки какие-то узорные вниз по обрывам сбегают, – сижу я это, сударь ты мой, с ружьем обнявшись, и думаю: господи! Хоть бы капельку счастья!.. Где-то, мол, оно запропало от меня – от молодца? А он вдруг меня из-под горы-то и поздравила... Как грохнет в пистолет! Я с горы-то за ним, – бегу, сам не знаю куда и за чем, – настиг, да как шарахну его штыком в бок... Кровь на траву потекла, – захрипел!.. Мужчина, вижу, дюжий, – все тело у него ходенем пошло! Вздрагивает, словно бы его холодной водой окатили... Смотрел-смотрел я на него, ровно бы в полоумстве каком, и заплакал, по-бабьему закричал во весь голос. Господи! Думаю, за что это я человека-то ухлопал, словно барана какого?.. Так вот они теперича над этим делом грохочут вот уже который год... да майором и прозывают.

– Што же, тебя за твои глупые разговоры

хвалить, што ли?

– Нуждаюсь я в твоей похвальбе! Ты понимай только, сколь это человеку тяжело, ежели без пути про него подлые разговоры ведут... ради скуки... Ведь это все одно что петлю на шею надеть человеку и тянуть его смеючись, а особенно ежели какой человек в понятии состоит в настоящем... А? Вам этого не дано?.. Вам только зубы скалить...

– Расходись! Расходись! – подзадоривал дворник.

– Нечево, друг! Меня не раззадоришь... Наплясался я под эти ваши музыки-то, с меня будет. А вы вот, барин, прислушайте, отчего я беден теперь стал, наг и бос. Все вот от этих – от смехунов-то... Не я их смолоду спаивал, а они меня. У меня, глядя на их паскудство, сердце все изболело. Я в старину молодец был, деньги умел из кремня доставать, потому было ли дело на свете, какого бы Федор Васильев не оборудовал? А на мразь на эту смотришь-смотришь, бывало, как она мается, – ну, думаешь: дай же я им душу-то хоть раз отведам... Пущай, мол, хоть разок сердчишки-то у них как следует поиграют... И тут с ни-

ми ничего, бывало, не сотворишь. Один день на чужие деньги пропьянствуют, а на другой – нюнить примутся... Родителям начнут жаловаться: Федор Васильев их в соблаз ввел.

– Вот он у нас майор-то какой! – подсмеивался мне хозяин, теряя, однако, в значительной степени ту самоуверенность, с какою он обыкновенно нападал на старика. – Я вам говорил, сударь, – вы его раскусите только...

– За дело взялся, – продолжал старик, не слушая хозяйских речей, – ограбили. Сколько денег моей разошлось по околотку, – конца краю нет! Жену из дальних краев привез – смутили. И что только от скуки эти люди про нее не разговаривали: быдто, то есть, я ее с кобылы взял, из-под палача... Не снесла баба этой городьбы, – стала задумываться, чахнуть, – ну и сгасла...

Помню, сидишь где-нибудь, бывало, а они шушукают: «Совсем ведь бабенку-то его стегать привезли на базар, а проходимец-то наш тут и случись. Сжалобился сейчас и говорит начальникам, не стегайте ее, почтенные господа, потому я с ней вступлю в законный брак...»

Ну да нечего, что было – то прошло, – что будет – увидим, а теперь просим, сударь, прощенья!.. – Подошел ко мне наконец старик, обнял и поцеловал. – Ведь он мне никогда отдыху не дает, – прибавил майор, показывая на хозяина. – Приючусь я так-то у какого-нибудь хорошего человека, так он ему такое на меня сплетет... Свежие какие люди от скуки этими разговорами с ним пристально занимаются, – и верят. Ты-то, я знаю, не поверишь. А смолоду, признаться, чтобы как-нибудь грызню унять ихнюю, дюже ухитрялся я приладиться к ним: то это форс, бывало, на себя напущу, то деньгами примусь оделять, то смиренством пронять их старался... а они-то-ха, ха, ха!.. ну, сам виноват! Не так нужно было! Во всем сам виноват! Об этом у господа бога моего на страшном суде буду прощение просить, чтобы он меня рассудил... может, и мне выйдет прощенье от него – от батюшки...

Печально склонивши вниз седую лохматую голову, старик вышел, а содержатель постоялого двора, сидя на стуле, протяжно заговорил мне:

– Вот за то никто и не любит старого! Как

начнет, как начнет; а ведь, кажись бы, при такой при бедности, правду-то в карман нужно прятать... Всякая курица его теперь может обижать, не токма человек... С достатком особенно!..

Более уже не будили меня веселые стариковские крики.

Другой день, после описанного разговора, начался в шоссейной деревушке страшным гвалтом:

– Где, где он? – звонко стучая сапогами, кричали на улице люди. – Кто же это его отработал?

– Тут отработают...

– Где он лежит-то? Надо взглянуть. Как он? Ножом кто-нибудь али как?

– Кулаком кто-то ухитрился! Всю башку разнес. Говорили чудаку: не мешайся не в свое дело... эх, майор, майор! Доколотился до какого дела!

– Укокошили, сударь, друга-то нашего! – пояснил мне людскую суетню содержатель постоялого двора, вошедши в комнату. – Пойдемте туда. У вдовы тут у одной – у бедной – лежит. Надо свечек купить, ладонцу, того да

другого, – помогите, ежели ваша милость будет. Нельзя-с человеку, как собаке какой, умирать. Весь век жил, как люди добрые не живут, – похороним хоть по крайности... по-христиански...

Мы с хозяином пришли в какую-то маленькую разваленную избенку, где сидела седая старуха, задумчиво и серьезно принимавшая от доброхотных дателей различные приношения, имевшие сделать конец стариковой жизни хоть сколько-нибудь похожим на всякий христианский конец.

Сморщенный старик, из отставных солдат, дряхлый такой, то и дело понюхивая табак, уныло гнусил по псалтырю, переплетенному в замасленную кожу: «Мал бех в братии моей и юнший в дому отца моего...»

В белую, как кипень, рубаху кто-то облачил старика. Она была не застегнута и показывала тощую желтую грудь. Левая щека и висок были, как разговаривала улица, действительно разнесены каким-то лихим шоссе-кулаком. Левый глаз выпятился из орбиты красной, одутловатой шишкой, накрытой седыми, расцвеченными запекшейся

кровью волосами; а правым уцелевшим глазом, мне казалось, старик, как и во времена нашего с ним доброго знакомства, шутливо и ласково помаргивал мне и говорил:

«Андел, прости ты меня, старика, Христа ради, виноват! Сбегать, что ли? хе... хе... хе!..»

*1870*